

ВОСПРИЯТИЕ ПУШКИНА АНДРЕЕМ БЕЛЫМ

У статті докладно прослідковується на архівному матеріалі процес сприйняття О.Пушкіна Андрієм Белім від гімназійного екзаменаційного твору (1899) через статті «Сучасне і майбутнє російської літератури» (1905), «Апокаліпсис у російській поезії» (1907) до лекції «Пушкін і ми» (1925) та статті «Ритм як діалектика та «Місяний вершник» (1929). Проводиться паралель між «загадкою» німоти Пушкіна в останній період його життя та загадкою Білого — драмою мовчання в умовах радянської дійсності.

Ключові слова: Пушкін, Андрій Белій, пушкінознавство.

Если вспомнить известное определение Мережковского «Вечные Спутники», категорию, в которую он включал и Пушкина, то можно сказать, что это определение вполне подходит именно для Андрея Белого. Сопутствие Пушкину началось еще в 1899 г., когда на выпускном экзамене ученик Борис Бугаев писал сочинение на тему: «Почему так торжественно предполагается чествовать столетие со дня рождения А.С.Пушкина?» [1]. И в ответе на заданный вопрос указывалось на исключительное значение Пушкина как поэта народного, русского и поэта мирового.

Завершилось же это сопутствие уже перед самой смертью Белого одним из его последних произведений: «Ритм как диалектика и «Медный всадник», где несмотря на некоторые изъяны вульгарного социологизма и вопреки им, пробиваются интересные попытки формального анализа поэмы.

Меж этими крайними датами (1899-1929) протекает процесс восприятия Пушкина Белым, который почти полностью совпадает с творческим путем Белого. На этом пути поэта-символиста можно отметить несколько моментов, особенно озаменованных именем Пушкина. Следует начать со сборника «Луг Зелёный» (1910), в котором находятся две значительные статьи: «Настоящее и будущее русской литературы» и «Апокалипсис в русской поэзии». В этих статьях сделана попытка представить обзор развития русской литературы: одна из немногих попыток такого рода, сделанных символистами; другая — серия статей Мережковского, посвященных Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Андрееву, и его же работа о Толстом и Достоевском.

Обе статьи Белого были написаны в годы 1-й русской революции (1905 и 1907 гг.), т.е. в период переломный и для Белого, и для других символистов в годы, когда тема России выходит на первое место в идейных и тематических поисках Белого, о чем свидетельствуют и стихи из сборников «Пепел» и «Урна», и публицистика писателя.

И в одной, и в другой статье личность Пушкина занимает ключевое место. Исходная позиция комментария Белого не отличается оригинальностью, это повтор известной оценки: Пушкин — начало новой русской литературы, фигура, стоящая у её истоков, и фигура подлинно народного поэта. В этом определении значения Пушкина Белый обращается к традиционным для русской истории и культуры понятиям Востока и Запада. Он считает, что

Пушкин сочетал в себе тягу к Западу с тягой к Востоку, но самое главное «народная стихия литературы победила Запад в русском писателе».

Такая позиция корректируется соловьевский апокалипсическим видением, присутствующим в эти годы и в других статьях Белого, и обосновывается методологически в манере, характерной для критики символистов, — на противопоставлении, на антитезисе (см. Мережковского). Целостность Пушкина при встрече с хаосом жизни раздробляется, и поэзия его последователей, начиная с Тютчева, вырастает в хаос.

Эти высказывания, вместе с исследованиями по ритму лирических стихотворений Пушкина, а также с тонким эссе «Пушкин. Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы» (1916) относятся к дореволюционным годам и, в определённой мере, известны, так что подробное их рассмотрение не кажется уместным... Целесообразнее остановиться на группе материалов, посвященных исключительно личности Пушкина, относящихся к 20-м гг., к советскому периоду, не напечатанных при жизни писателя и надолго забытых в его архиве.

В «Ракурсе к дневнику» в феврале 1925 г. Белый записал: «Перед самой смертью Гершензона бываю у него... Он уговаривает меня прочесть лекции о Пушкине. Работаю над Пушкиным». О том же он рассказывает в письме к Иванову-Разумнику в марте 1925 г. т.е. уже после смерти Гершензона. Также от самого Белого узнаем, что лекции о Пушкине он читал в феврале 1925 г., в Академии Художественных Наук, затем в том же году в студии «Петрушка», а потом, в мае, в Киеве в Коммунистическом доме искусств. Сохранившиеся в архиве материалы состоят из размышлений о Пушкине [2]. Это, во-первых, — тезисы докладов в двух почти идентичных вариантах (дата написания одного из них 9 февр. 1925 г.). Один озаглавлен «Тезисы к Слову о Пушкине», а другой — «Загадка Пушкина». Вторых — очень подробный план лекции. Всё в рукописном виде. Кроме того, существует стенограмма произнесённого в АХН доклада (машинопись), которая дает возможность услышать, если можно так сказать, подлинное выступление писателя и сравнить его с планом [3]. Отличия между вариантами не существенные и, думается, что суть исследования определяется ключевыми словами: «Загадка Пушкина» и «Пушкин и мы». Они не исключают друг друга, а скорее указывают на два пути, по которым автор подходит к творчеству Пушкина.

Один — путь к раскрытию «загадки» Пушкина, заданной в самом начале всех указанных текстов. «Пушкин самый ясный, самый кристально-ясный и совершенный и Пушкин самый темный, самый непонятный, непонимаемый по сие время». Конфронтация «самый ясный и самый темный поэт» присутствует во всех текстах. Разгадка ищется в биографическом, литературоведческом, историческом плане с учетом опыта формалистов, что естественно, принимая во внимание эпоху, но и в сопоставительной историко-литературной перспективе, как бы в некотором предлютманианском духе.

Исходная точка исследования для Белого — «великая речь Достоевского», который и поставил вопрос о «загадке» Пушкина. («Достоевский прямо её и выдвигает перед нами: «Пушкин загадал нам загадку, и вот мы теперь ее разгадываем»). На Достоевского неоднократно ссылается Белый и в своих текстах.

Творчество Пушкина представлено как «теза, антитеза, синтез».

Обращаясь и историко-литературной перспективе, Белый представляет триединство Пушкина как завершение целого периода в развитии русской поэзии (между прочим, ссылаясь на Розанова и соглашаясь с ним), то есть литературы XVIII в. Другими словами, здесь иная точка зрения нежели в статьях 1905 и 1907 гг. Там говорилось об истоках, здесь — о завершении: «...он — завершение, синтез эпохи; но именно: этим синтезом и является его личность, его «Я», стремление к высвобождению этого «Я» [4]. Сквозь же это «Я» выговаривает себя «мы» коллектива; а «коллектив», отраженный Пушкиным, по Достоевскому, есть русский народ».

Белый особенно настаивает на синтезе у Пушкина в своем устном выступлении: «Это синтез формы и содержания, это одновременно западноевропейская выучка, нераздельно связанная с вскрытым впервые образом России таким, в каком мы живем» [5] и он видит именно в этом главное значение поэта для русской литературы: «в Пушкинском синтезе есть синтез синтезов. Это есть синтез всего, что дала наука о слове, во-первых. Во-вторых, это синтез всех материалов науки о вдохновении, и вот, в-третьих, синтез, из этих двух синтезов рождающийся» [6].

У Пушкина отмечается ряд общих заслуг: он показал, «что у нас не было рабов, даже если было рабство». «Был смерд и барин, после Пушкина стал всецело русский. ... Это первое движение в сторону народного дела». Кроме того, именно «Пушкин первый дал в образах быт России» [7].

Некоторый популяризаторский тон и политический уклон высказываний объясним устным характером текста. Зато комментарий набирает силу и звучит самостоятельно, по-беловски, в основной части письменного текста и устного доклада, где автор обращается к наиболее загадочному периоду творчества Пушкина, а именно — к периоду после декабризма, периоду, о котором по сей день много спорят. Белый непосредственно ставит вопрос о творческом кризисе поэта в 30-е годы. Он покидает историко-литературную перспективу, того же Державина или Баратынского, и предлагает два ключа для расширения этого периода, рассматриваемого в сочетании творческого плана с биографическим. Эти ключи — немота, молчание Пушкина и маска. Они свидетельствуют об отсутствии коммуникации с другими, о замкнутости, об уходе в самого себя, о сокрытии своей личности, своего «я». Вместо ясности, гармонии — темнота, дисгармония. Белый ссылается на Гершензона, который говорил, что в этот период у Пушкина «появилась нота ущерба», и на самого Пушкина, с его «чёрным человеком». При чем трактует чёрного человека экстенсивно, он не только «отравил Моцарта», но и «свел в гроб Гоголя», «измучил Толстого».

«Немота» Пушкина это та загадка, которую, по словам Достоевского, нам оставил поэт, — пишет Белый, а «первая фигура «молчания» — плащ индивидуализма и байронизма».

Кризис Пушкина, выраженный в «немоте», в «ущербе», — восстание внутренних компонентов его личности. С одной стороны, эта личность стремится к движению, к утверждению, осознавши свое значение («Я памятник себе воздвиг нерукотворный»). С другой — она испытывает преследование командора, или «чёрного человека». Таким образом, по словам Белого, поэт становится носителем в себе «своего раздвоения». Ссылка делается на стихи «Напрасно я бегу к Сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам». И Белый приходит к

заключению: «Это нота закрытия, она везде во всех произведениях Пушкина последнего периода, это косноязычие Пушкина» [8]. Темнота, молчание, отчуждение приводят к надеванию маски: «Пушкин до смерти смотрел на свою заживо-погребённую личность, как на предмет изображения, и она отразилась в нём Евгением Онегиным: Евгений Онегин — загримированный Пушкин».

Эссе Белого относятся к 20-м гг., когда ещё могла появиться известная книга М.М.Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (1929), но и когда партия уже заговорила о своем праве давать указания писателям, а вулгарный социологизм в виде политизации литературных явлений, набирал все больше силы. Отголоски сложного сочетания противоположных идеи и методологических принципов звучат в этом эссе. Отсюда типичная для некоторых, нелучших образцов советского литературоведения актуализация: «Пушкин и лозунги наших дней» — последний пункт «тезисов», которым Белый предполагал закончить доклад. И в особенности политизация личности поэта: Пушкин представляется революционно настроенной личностью, личностью, понимающей «несостоятельность дела декабризма» («декабристы ему казались узкими и ограниченными революционерами»), хотя «представлений о социальной революции у него не могло быть»... И все-таки Пушкин представлен как «максималист», перешагнувший все программы «максимум», но не смогший ясно представить себе воплощения этих программ: Подобная программа жила в нём в катастрофах и революциях сознания, заставляя «пророка», т.е. революционера сознания, подставлять своё сердце под пламенный меч, секущий грудь, чтобы «язык», говорящий о ветхом и косном, был вырван, дабы «жечь сердца людей» огнём революции.

В устном докладе Белый уклонился от утрирования революционности Пушкина, но позволил себе довольно рискованную параллель (неизвестно отмеченную ли присутствующими? — Т.Н.) Он сравнил пушкинские политические переживания с переживаниями своих современников: «Может быть переживал все то, что мы теперь переживаем, но он пережил это за сто лет (раньше? — Т.Н.)» [9]. Это можно было понять как неудовлетворение революцией, современниками 20-х гг. Или еще глубже — в подтексте — как противостояние установленному порядку?

Согласно Белому, Пушкин пережил глубокую драму: драму невозможности выражения своей личности, своих идей, тех «очень глубоких пластов своего молчания», где в нём «шла какая-то переплавка личности... кто-то умирал и что-то не могло еще родиться» [10]. Смело выдвинуто даже понятие о «бессознательной конспирации», к которой прибегал поэт, дабы скрыть оппозиционные идеи. Маска арлекина указывается как способ законспирировать свою внутреннюю революцию («... под арлекинской маской шута пыталось вести свое подпольное дело, заведомо обреченное на неудачу»).

Драма, переживаемая этой переплавкой, т.е. изменением личности поэта, объясняет трудность определения общественного лица поэта во второй половине его жизни. Белый обращает внимание на художественные приемы, которые отражают эту «переплавку», а именно — присутствие антиномий как-то: поэт и пророк, слово и дело, камер-юнкер и революционер, поэт и общество, поэт и царь. В особенности тема — поэт и пророк — привлекает Белого, к ней он часто возвращается в переписке этих лет (например, с Ивановым-Разумником), цитируя известные стихи «в пустыне я лежал». В тот же ряд укладываются повторяющиеся

мотивы, иногда тоже антиномичные, как-то мотив покорности и сумасшествия, или ухода, бегства. Наиболее интересны рассуждения о приеме маски, поскольку в них могли быть отголоски символистской практики. Маска Евгения Онегина, этого alter ego поэта, скрывает именно антиномичную суть «переплыва» личности: «поверхность», «омертвление», «скука», под которой молчащий и его пожирающий «пламень исканий». При чём открытый финал романа, как сожженные страницы из восьмой главы, относятся к тому же молчанию Пушкина к той же его конспирации. «Мы не знаем судьбы Онегина, потому что именно в этом пункте она сливается с судьбой Пушкина, с судьбой пушкинского молчания, там, где Пушкин косноязычно набрасывает какие-то строчки «И я бы мог» [11].

Образ Евгения Онегина подвергается и противоположной интерпретации под знаком активности политического «дела». Белый пишет: «Путь от Евгения Онегина, скитающегося по идее... это есть путь из скитальчества к народничеству, а от народничества к народовольничеству, а от народовольничества к нашим дням» [12].

Подводя итоги размышлениям в ответе на «загадку» Пушкина, Белый возвращается к исходной позиции речи Достоевского, и утверждает: «Пушкин — как синтез слово и дело: врожденная нашему народу миссия осуществить «братство народов», причём эти слова определяются как «лозунг красных знамён».

Элементы «осовременивания», «политизации» еще сильнее чувствуются в попытке очертить тему «Пушкин и мы». Главная проекция здесь в будущее как идея исполнения определенной миссии, исторически возложенной на русский народ («наша земля скажет новое слово миру»). Это и «восстание пушкинского пророка в народном деле», это и долг высказать «зерно будущей правды», «способной примирить европейские противоречия». Наряду с общими и довольно абстрактными высказываниями, пробиваются неожиданно отголоски «шума времени», ссылки на повседневные споры и на их участников. Так, только в стенограмме устного выступления в АХН вдруг звучит обращение к Сталину по поводу полемики, возбужденной высказыванием Демьяна Бедного о «невнятице у Пушкина». «Я» в этом споре со Сталиным и с русским народом», — сказал Белый в своем выступлении, «против легкомысленного, пошлого осмеивания всего того, чем дышит художественное творчество» [13]. Уже писалось о смещении памяти и ее компромиссах в мемуарах Белого. «Актуализация» вопроса «Пушкин и мы» может быть списана за счёт темперамента Белого и его бурных переходов, неожиданных скачков. Но не следует останавливаться на этом первом поверхностном слое. Не скрывается ли под «загадкой» Пушкина и другая «загадка» — загадка Белого, его трудного неживания в условия советской действительности? Есть, думается, скрытый подтекст, раскрывающий глубокую жизненную драму Белого, созвучную пушкинской драме. Это именно драма молчания, на которое был приговорен поэт-символист в советское время, драма немоты, которая роднила его с Пушкиным и давала определенную интонацию прочтению им Пушкина. В подтверждение следует привести отрывок из письма к Мейерхольду: «Меня вытолкали из всех обителей русской культуры... закопали заживо человека» и сравнивает себя с рыбой, выброшенной на сушу. Закопанный «заживо» Белый видел в немоте Пушкина свою немоту, в его «перекалке» личности — свое раздвоение и метание, в конфликте поэта с обществом — свое одиночество и

отчуждённость от общества.

И еще одно свидетельство, не менее красноречивое, может быть, еще более убедительное. В тот же день, когда он отмечает в «Ракурсе к дневнику», в феврале 1925 г.: «Пушкин и мы» моя лекция в Академии Художественных Наук». Белый записывает в связи со смертью Гершензона: «... умер ... последний «старший друг». Больше мне в Москве не на кого опираться. Люди, симпатично ко мне относящиеся, или в загоне, как я, или, поджав хвосты, не смеют мне высказывать симпатий, где найти пункт на земле, где бы можно было укрыться от злобы мира сего» [4].

Итак, Белый о Пушкине, но и Пушкин и Белом. Одинаково трагические оба отражения...

1. РГАЛИ, ф 53, оп.6, ед. хр. 46.
2. РГАЛИ. ф. 53, оп. 1, ед. хр. 95. Тут находятся рукопись «План лекции» о Пушкине, машинопись-стенограмма этой лекции «произнесённой в ГАХНЕ» (пометка А. Белого с добавлением «искаленная и неисправленная»), рукопись «Тезисы к «Слову о Пушкине» и рукопись «Конспекты к одной из лекций о Пушкине» Кроме того, в ф. 941, оп. 2, ед. хр. 2 под общим заглавием «Тезисы докладов, прочитанных на секциях 12-1 1925-15 04 1925 « на листе 26 с пометкой «Москва 9.02.1925» указано «Белый — загадка Пушкина». Этот текст очень близок к Тезисам к «Слову о Пушкине», но не тождествен.
3. Из сохранившихся в архиве текстов был напечатан «План Лекции» Джоном Малмсталом с его же предисловием к публикации. В примечаниях к публикации даны полностью текст Тезисов и выписки из рукописи « Конспекты». Машинопись — стенограмма вовсе не принята во внимание, также как «Загадка Пушкина» JOHN MALMSTAD Silver Threads among the Gold. Andrej Belyi's Pushkin, Cultural Mythologies of Russian Modernism, California Slavic Studies , XV, pp. 43 2-480
4. Там, где специально не оговорено, цитируется текст «Плана Лекции».
5. Машинопись-стенограмма с. 8.
6. Там же, с. 14.
7. Там же, с. 14.
8. Там же, с. 15.
9. Там же, с. 17.
10. Там же, с. 18.
11. Там же, с. 20.
12. Там же, с. 2.
13. Там же, с. 4.
14. РГАЛИ, ф 53, оп. 1, ед. хр. 100. с. 120. об.

Summary

On the archived material a process of A. Bely's perception of Pushkin from the gymnasial examination composition (1899) through the articles "The Present and Future of Russian Literature" (1905), "Apocalypse in Russian Poetry" (1907) up to the lecture "Pushkin and we" (1925) and the article "Rhythm as dialectics and "The Copper Rider" (1929) is thoroughly traced. A parallel between Pushkin's dumbness "mystery" in his latest period of life and Bely's mystery i.e. dumbness drama in the conditions of soviet reality is drawn.

Key words: Pushkin, Andrej Bely, Pushkin's Studies.

Стаття надійшла до редколегії 24.11.2005